

УДК 93
ББК 63.3
Ш88

Два лика русской революции

Публикуется по изданию:
Штейнберг И. З. Нравственный лик революции.
Берлин, 1923.

Ш88 Штейнберг, Исаак Захарович
Нравственный лик революции / Предисл.
Е. Н. Морозовой. — М.: Кучково поле. 2017. —
416 с. — (Библиотека русской революции)

ISBN 978-5-9950-0835-4

Автор книги — левый эсер, первый нарком юстиции РСФСР. В своей работе он ставит своей целью выявить два лика революции: фальшивый — большевистский и истинный, который являет собой идеал левых эсеров. Опираясь на свой опыт работы наркомом юстиции, на основе огромного фактического материала и трудов видных марксистов и социалистов Штейнберг рисует яркую картину русской революции. Член партии, использовавшей в своей практике политический террор, не смог принять ужасы красного террора, развязанного большевиками в Советской России.

УДК 93
ББК 63.3

Почти 100 лет назад в «русском Берлине», в издательстве «Скифы», была опубликована книга И. З. Штейнберга «Нравственный лик русской революции». Ее жанр очень сложно определить: для мемуаров в ней слишком много теоретических построений; для теоретической работы она слишком романтична, эмоциональна, пафосна. *«Меч, сияющий в руке, с розой, расцветающей в груди, — таков образ социалистической революции»*, — утверждает автор. Не правда ли, как это напоминает «Розу и Крест» А. А. Блока (*«Прямо в розу на груди / Тот удар меча пришелся»*)?

Автору свойственен язык, изобилующий лексикой Серебряного века: «лики», «чаемый град», «образ гневный, мучительный и скорбный» (сравни: «образ твой мучительный и зыбкий» О. Э. Мандельштама), «черный бриллиант в короне революции», «томление социализма» и т. д. Прав был М. А. Булгаков, утверждавший, «как странно тасуется колода». Берлинские «Скифы» являлись продолжателями и в какой-то мере духовными преемниками петроградских «Скифов» (1917–1918 годов), альманаха, издаваемого под редакцией Р. В. Иванова-Разумника. В этом издании публиковались А. А. Блок, А. Белый, С. А. Есенин. Некоторые авторы считают, что «скифство» являлось предтечей евразийства, и ряд

ISBN 978-5-9950-0835-4

© ООО «Кучково поле», 2017

представителей литературных кругов духовно были близки к левым эсерам*.

Действительно, представляемая книга принадлежит перу левого эсера, активного члена ЦК Партии левых социалистов-революционеров(-интернационалистов)** , наркома юстиции РСФСР (декабрь 1917 — март 1918 года) Исаака Захаровича Штейнберга. Чтение этого произведения потребует от читателя значительных усилий. Дело не столько в том, что этот многостраничный труд стилистически напоминает беллетристику начала XX века с ее сложными нюансами, «надрывами», экзальтацией, неожиданными коллизиями, столько в наличии глубоких внутренних противоречий, связанных с определением различий в стратегии, технике и технологии революции между большевиками и левыми эсерами.

Автор пытается выявить два лика революции: фальшивый — большевистский — и истинный, морально-этический, который являет собой идеал левых эсеров.

Опираясь на свой опыт работы наркома юстиции, используя газетные публикации, ссылаясь на труды русских и западных марксистов и социалистов, исследуя опыт России и Французской революции, Штейнберг противопоставляет реалии Русской революции 1917 года другой, «чаемой» революции, представляющей «величественное зрелище истории», грозovou бурю «человеческих страстей», которая «для революционера должна стать сменой событий и переживаний,

* См. например: Леонтьев Я. В. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2007.

** И. З. Штейнберг учился в Московском университете и Германии, был гласным Уфимской городской думы, известным в городе адвокатом. В партии эсеров состоял с 1906 года. Вышел из состава советского правительства по решению съезда Партии левых эсеров в знак протеста против заключения Брестского мира. С 1923 года находился в эмиграции.

неустанно проходящих сквозь горнило этического сознания».

По мнению Штейнберга, истоки фальшивого лика революции лежат в самом марксизме, в его доктринерстве и схематизме, чья социальная теория сводилась к достижению счастья всего человечества. Отсюда следует непреложный вывод: «Цель оправдывает средства». «Такая позиция, — отмечает автор, — встречается в истории не впервые: в истории религиозного движения с мрачным блеском ее проводил уже *орден иезуитов*, в истории политических — с такой же мрачной последовательностью ее осуществляли *французские якобинцы*».

Штейнберг доказывал, что лик русской революции был уже искажен во время февральских событий. Он выступал против попыток изобразить Февральскую революцию «бескровной». Автор убеждает читателей, что факты свидетельствуют «об обратном». Именно в эту «весеннюю» пору революции было совершено большее число насилий, оскорблений и убийств слуг старого режима: городских, жандармов, «фараонов» (где «снятие» их с крыш превратилось почти в спорт), кровавых массовых расправ с офицерами Балтийского флота.

Однако в период октябрьских событий террор из спорадического превращается в систему, становится государственной политикой после убийства М. С. Урицкого и покушения на В. И. Ленина. Бывший нарком юстиции считал, что новая власть могла бы проявить милосердие. Ленин остался жив, а «Дора Каплан была казнена». А между тем ее помилование, доказывал Штейнберг, «было бы не только красиво и благородно и не по царскому шаблону».

Десятки страниц Исаак Захарович отводит ужасающим примерам и формам красного террора в различных уголках России. Террор заключался в тесно сплетенной, кружевной *сети политического надзора*, в *тайной политической полиции*, которая неотступно сле-

дит или делает вид, что следит за всяким шагом граждан; в хитроумных, дьявольски изобретательных приемах сыска и провокации; в мучительных формах допроса людей; в тончайших приемах душевной и иной пытки. Но самое страшное, самое чудовищное проявление террора — в смертной казни, которая, как «Святая Гильотина», вышла первым действующим лицом на бытовую арену революции, готовая в любую минуту опуститься на любую голову. Штейнберг делает вывод: «Массовый террор нарушает все человеческие и божеские права и чувства, он ужасен и страшен. Он поэтому — антиморален».

Безусловно, доказательная база аморальности и вреда красного террора как технического средства революции присутствует в книге Штейнберга. Исследуя истоки красного террора, Штейнберг штудировал историю Французской революции, опираясь на широкий круг литературы. Полемизируя с большевиками, автор приводит 11 аргументов, которые, казалось бы, разрушают позиции защитников терроризма. Однако здесь не все так просто, как представляется на первый взгляд. Именно здесь коренится противоречивая позиция автора.

Итак, для Штейнберга истинный нравственный лик революции определяется целью, которую он видит в социализме, который для левых эсеров «является непререкаемым моральным идеалом, высшим нравственным критерием всех наших революционных действий». В отличие от большевиков, убеждает автор, мы стремимся к счастью не «всего человечества», а реального человека. Социализм для нас это — наиболее достижимое... наиболее логически правильное, эстетически обаятельное, а главное, нравственно справедливое построение будущего человечества». Автор предлагает отказаться от научного социализма как основной доктрины большевиков и вернуться к истокам: к социализму утопическому, основанному на нравственном пафосе.

Как же бывший нарком юстиции характеризует технические средства революции? В качестве объективного критерия он выдвигает «адекватность средств революционной борьбы внутренне моральной природе социализма». Таким адекватным средством Штейнберг считает насилие. Он пытается выявить природу террора и насилия и главные признаки их отличия. Но свои выводы он строит не на политико-юридических рассуждениях, а на субъективных оценках. «Кровь человека красна одинаково, льется ли она каплями во имя насилия или проливается ручьями именем террора». Говоря об адекватности средств, соответствующих моральной природе социализма, он не видит «никакой принципиальной разницы между ними» и считает, что «было бы отвратительным лицемерием это отрицать».

Для чего же необходимо насилие в революции? На этот вопрос автор отвечает проникновенно и эмоционально: «Кроваво и грязно висит перед ним весь старый мир насилия. Но скорбно перед ним стоит и честное лицо революции. Мы берем в руки орудие насилия, чтобы покончить навсегда с насилием». Штейнберг сам, будучи юристом, видел в своих рассуждениях «антиномию неугасимую» между духом социализма и реальностью насилия. И потому, по его мнению, само насилие должно быть кратким, ограниченным, ответственным, отвечать лишь крайней революционной необходимости. Насилие должно носить оборонительный характер, т.к. оно необходимо лишь для «отражения или ломки старого мира».

Очевидно, что Штейнберг не может провести четкую грань между насилием и террором. Он пишет, что, «сходные по своей природе», они «зачинаются и рождаются с разными намерениями и дают разные итоги». В то же время «террор и насилие могут и внешне проявляться почти одинаково». «Одни и те же действия, — пишет автор, — могут быть проявлением и насилия и террора,

и никакое исследование заранее не укажет точных признаков их различия». По мнению Штейнберга, «только нравственное чутье (подсознательное ощущение соответствия действий нравственному идеалу)» поможет распознать их «по внутреннему устремлению. Насилие жертвенно и испуительно».

Ему видится насилие в формах баррикады, поединка, добровольной гражданской войны, которые являют собой «творчество в разрушении». Автор произносит панегирик во славу насилия: «Насилие сосредоточено и углублено в себя; насилие имеет образ гневный, мучительный и скорбный, ибо оно постоянно носит в себе сознание о внутренней цели идеала. *Отвергая террористические уродливости революции, мы тем самым принимаем ее насилие целиком.* Ни единой лишней капли крови, ни единого лишнего стога, ни одной напрасной слезинки ребенка».

Далее с помощью не доказательств, но метафор Штейнберг оправдывает эту технику революции с точки зрения нравственности: «Насилие — неизменный бриллиант в короне революции, но это — черный бриллиант. Меч наш должен быть «мечом честным» и праведным. Поражая исторически случайную оболочку людей, он не должен пронзать сердце революции и человека... насилие наше должно быть искусно, чутко и спасительно».

Таким образом, формула нравственного лика революции по Штейнбергу выглядела так: «Революция — высшее воплощение борьбы», которая «пишет сама себе свои нравственные законы во имя человека. Вот почему как болезненно неизбежное принимает она насилие как болезненно смертельное отвергает она террор. В ответ на основной наш нравственный вопрос революция должна заявить: Террор — никогда! Насилие — иногда! Борьба — всегда!»

Казалось бы, канва рассуждений автора по поводу двух ликов революции видна и понятна. Однако в сло-

весной вязи книги Штейнберга можно найти и другую, говоря словами автора, «неугасимую антиномию»: вопрос о терроре. Из предыдущего анализа явствует, что бывший нарком юстиции отвергает террор как страшную смертельную болезнь революции.

Выше говорилось о филиппике из 11 пунктов, бичующих защитников террора. Однако для Штейнберга существуют два вида террора: «ужасный» и «героический». К последнему он относит террор Боевой организации эсеров. Террор Г. А. Гершуни и Е. С. Сазонова, И. П. Каляева и М. А. Спиридоновой, по его мнению, отличался от «нынешнего террора», являясь «тончайшим видом насилия». Вышеперечисленные лица «в террор шли не для того, чтобы уничтожить человека, чтобы истребить людей (как в нынешнем терроре), а чтобы в их лице лишь поразить зловещую идею, чтобы в их лице навсегда убить символы насилия и тьмы».

Штейнберг, цитируя письма Гершуни, Сазонова, Каляева, видит в террористах эпохи подготовки революции «рыцарей духа», «сказочное сочетание силы, нежности, красоты, святости»: «Террорист той героической эпохи (не ремесленник террора нынешней эпохи) смотрел на себя как зачинателя новой жизни, строителя нового мира». Одним из главных отличий «старого» террора Штейнберг считает «чувство личной ответственности за террор», «что с кровью жертвы сливается жертвенная кровь и террориста». Автор, конечно, лукавит (что, правда, сложно определить), сознательно или бессознательно. С «жертвенной» кровью террориста-одиночки «сливалась» не только его кровь, но и кровь невинных людей, случайно оказавшихся на месте покушения. Вспомним известный факт: при покушении на П. А. Столыпина (взрыв министерской дачи на Аптекарском острове) погибло свыше 20 и ранено около 30 человек. А если углубляться в историю их предшественников — народовольцев, то можно сказать, что

вытекает, конечно, и различие ведения войны. Война государственно-национальная* ведется, в сущности, обычно на уничтожение, на подавление и подчинение территорий, наций, человека. Никакой цели спасения человека она себе не ставит**, и потому для нее открыты все пути жестокости и ненависти. Преследуя свои особые задачи, хоть и отдавая должное «гуманности», хоть и ворочая людьми, не ведающими злобы, она в то же время по духу своему выпускает на волю все зверские инстинкты человека. И от распушенности самых «законов» войны, параллельно индивидуальной незлобивости солдат, течет всегда река разнуданности их. И потому война была всегда и будет самым темным увенчанием старого преступного мира, который от нас отходит. Но война гражданская за наши цели имеет ведь совершенно иное направление, чем та война. Она — борьба не на уничтожение, а на вовлечение, ассимилирование, духовное завоевание лагеря противника. Спасение человека — ее цель, и отсюда вытекает иное направление ее борьбы: ведение ее с чуткостью к человеку. «Не следовало забывать, — писал активный борец Коммуны Арну, — что междоусобная политическая война, все величие и оправдание которой заключается в убеждениях участников, не солдат, но живых идей, не может быть ведена так, как война с чужеземными завоевателями». А в № 2 своего журнала «Друг народа» (от 24 апреля 1871 года) другой борец Коммуны, Верморель, писал: «Мы должны господствовать над нашими врагами нравственной силой... Не следует прикасаться к свободе и к жизни личности... Но надо их поставить в невозможность вредить, лишить их силы,

* Ср. о том же выше, в главе VIII.

** Лишнее свидетельство того, что война не стихийное явление, а сознательное: такое оно на стороне солдат, такое же, тем более у водителей ее государственных, династических и т. д., дающих ей цель, во-первых, и направление борьбы («на уничтожение»), во-вторых.

принудить их к справедливости, принудить к труду». Только в этом принуждении врагов к справедливости, в этом завоевании их для их же собственного спасения, только в этом характере гражданской войны теплится предрассветное сияние нового мира. Как же можно пользоваться тут тогда поверхностной формулой «на войне как на войне?» И террор, приравнивающий себя к древней войне, тем самым только вычеркивает себя из круга войны гражданской. Тем самым в самом подборе образцов своих он лишней раз показывает, что и сам он и питающая его идеология — не авангард нового мира, а только арьергард мира старого.

XXV

Террор Каляевых

К. Что может быть кощунственнее, чем сравнение государственного («бело-красного») террора с террором героическим, эпохи подготовки революции, с террором Гершуни и Сазонова, Каляева и Спиридоновой? Что может быть оскорбительнее сравнения деятелей ЧК с образами наших террористов? А были ведь и такие мысли, и самое слово это тождеством своим наводило неискушенных на сравнение и какое-то оправдание. В зеркале прошлого террор нынешних дней получал как будто освящение. А между тем, держась наших определений, тот героический террор был тончайшим видом лишь насилия, а не видом нынешнего террора. Он приходил не сверху, не из чиновничье-государственного покоя и покоев, а являлся снизу, с улицы, из ком-

наты тревожных совестью бойцов. В нынешнем терроре есть благолепие и спокойствие, есть систематичность и холодность расчета, есть безопасность творящего расправу. Здесь с безоружным человеком расправляется опирающийся на меч «закона» коллектив, здесь — «мероприятие» власти. Там — в терроре старом — было все, кроме только этой обстановки. Против до зубов вооруженного, деспотического режима, против крепкого и законно устойчивого строя слабым и одиноким (только с верой в народную поддержку за плечами) выходит террорист. Не наверняка убивать, а наверняка умирать идет поэтому боец в такой борьбе. И для него она поэтому не «мероприятие власти», а великий подвиг жизни*.

Но и беря в руки это оружие борьбы, террорист не выбирает его себе всегда и постоянно, как легкий и простой ее путь, а прибегает к нему лишь тогда, когда нет иного выхода в борьбе, когда к нему принуждает горькая необходимость. Именно эти террористы жаждали всегда момента, когда бы можно было прекратить террор ради всех иных путей борьбы, когда освобожденные массы хоть как-нибудь уж сами смогут вступить в борьбу. Профессионализм и привычка (к крови, к пренебрежению жизнью) были им более чужды, чем другим. В террор шли они не для того, чтобы уничтожить человека, чтобы истребить людей (как в нынешнем терроре), а чтобы в их лице лишь поразить зловещую идею, чтобы в их лице навсегда убить символы насилия и тьмы. И потому этот террор постоянно и болезненно отчетливо сам себе ставил величайшие ограничения.

* Там государство — коллектив идет против единицы, здесь как раз наоборот. Там — убийство человека, надвигающееся на него с неотвратимостью природы тяжкое умирание его при ярком солнце дня, когда все бытие и общество людское как бы в дьявольском равнодушии предают его. А здесь в таком же состоянии души (только тяжком не от вынуждения смерти, а от скорби по теряемой жизни — своей и чужой — при полноте жизнеощущений) находится не жертва, а сам «палач» — боец.

Говоря о чаемой свободе, Гершуни писал в своих воспоминаниях: «И уж действительно (тогда) в России можно будет жить? Уже не нужно будет убивать?.. Уже не нужно будет умирать за убийства? Настал уже этот благословенный момент?.. Проклятая нами кровавая борьба, возложенная на наши плечи проклятым кровавым режимом, настал-таки ей конец?.. Револьверы и бомбы могут уже быть оставлены там, за порогом этой новой жизни, как мрачное наследие мрачного бесправия, как мрачное орудие защиты от дикого произвола и насилия властных и сильных над бесправными и слабыми?..»* И как бы не веря в счастье этого освобождения от террора, Гершуни продолжает вновь: «Кончилось ли это? Истерзанная родина не требует уже больше жертв? Кроткие и любящие не вынуждены уже будут брать в руки кровавый меч?.. Слова правды и справедливости заменили наконец бойцам за счастье и свободу трудящихся револьвер и бомбу?..» И боль, лежащая в основе террориста, прорывается у Гершуни с мучительной силой: «Но вечный позор! но вечное проклятие режиму, вырвавшему из наших рук и сделавшему бесценным слово и мирную работу и заставившему взять кинжал и револьвер! Но вечный позор и вечное проклятие им, жестоким, безжалостным, десятилетиями превращавшем агнцев в тигров и толкавшим на путь насилия и убийств тосковавших и жаждавших мирной созидательной работы!.. И пусть — кончает террорист — в сознании потомков на страницах истории горит, как печать Каина, клеймо позора и проклятия на преступном челе преступного режима. И пусть никогда не меркнет эта надпись: вот чудовище, делавшее убийцами лучших детей страны!»

В письме из Бутырской тюрьмы от 1906 года Егор Саонов писал: «Не слава прельщала нас. После страшной

* Гершуни Г. А. Из недавнего прошлого. М., 1917. С. 159–161.

борьбы и мучений только под гнетом печальной необходимости мы брались за меч, который не мы первые поднимали... Да, я виновен перед Богом, но я спокойно жду его суда и знаю, что он будет судить меня не так, как здесь судили — судом неправедным... Подумайте, мог ли я иначе поступить, когда я слышал, как мой учитель говорил: возьми крест свой и иди за Мной... Не мог я отказаться от своего креста... Поймите же и простите... Народ скажет про меня и моих товарищей, казненных и оставленных в живых, как сказал на суде мой защитник: «Бомба их была начинена не динамитом, а горем и слезами народными... бросая бомбы в правителей, они хотели уничтожить кошмар, который давил народную грудь», скажет и оправдает нас»*.

Агнцы, превращенные в тигров, как тяжкий крест несли на себе обязанность террора. Непрестанное горение вины ощущали они во всем существе своем. И потому не всякого, готового проливать свою и чужую кровь за революцию, считали они достойным быть в терроре. В террор надо идти чистым! Это означало для них требование от террориста глубочайшей сосредоточенности на его деянии, проникновенного ощущения чувства греха. Вот почему они всегда предстоят нашему воображению в образах внутреннего сияния. Сазонов писал о Каляеве: «Прежде всего, что в нем бросалось в глаза, это — общее впечатление внутреннего сияния... Он был сказочное сочетание силы, нежности, красоты и святости»**. Из-под пера Сазонова мы получили образ Каляева-поэта, художника, артиста. Каляев не только совестливой, болезненной любовью к народу был связан с революцией, но еще и интимными нитями красоты. «А мы с вами почему называемся революционерами? — говорил он. — Неужели только потому,

* Материалы для биографии Е. Сазонова. М., 1919. С. 36.

** Памяти Каляева. М., 1918.

что боремся с самодержавием? Нет! Прежде всего мы — рыцари духа. Мы боремся за новый мир, который мы предварительно обрели в наших мыслях... Мы видим уже стройные контуры нового мира — там все новое прекрасное — можем осязать их». «Я замолк, — говорит Сазонов, — чувствуя близость красоты... Я постигал, сколько таится прекрасного в нашей борьбе за идею и как радостно близка связь доброго с прекрасным».

И если бы мы ничего больше не знали о Каляеве, как это, то перед нами стоял бы только законченный художник революции и не больше. Мы не знали бы, что за этой романтической, красотой пронизанной фигурой скрывалась глубокая борьба духа, трагическое нравственное страдание. А между тем это было так, и главным образом так: он, этот шуточный, иронический, песней пронесшийся над землей человек, таил в себе драму свою, общую, нашу.

Можно ли? — вот источник драмы Каляева. Можно ли убить человека, лишить его жизни, погасить хотя бы одно солнце в мироздании... ради счастья всех? Этот вопрос, а не какой-либо иной, терзал, сжигал, испепелял его душу постоянно. Когда он говорил о «мести и ненависти», когда ему чудится, что с ранних лет в тайниках его сердца зрело нечто, «чтобы вдруг излиться пламенем ненависти и мести за всех», то эти слова кажутся нам общереволюционными, а не Каляева. Каляев начинается там, где слышатся его иные речи. «Только тот имеет право на свою и чужую жизнь, кто знает всю ценность жизни и знает, что ей отдает, когда идет на смерть, и что отнимает, когда обрекает на смерть другого... Поэтому, прежде чем стучаться в дверь Боевой организации, пусть каждый из них строго испытает себя: достоин ли он, здоров ли, чист ли? В святилище надо входить разутыми ногами».

Два завета оставил нам Каляев из эпохи своих тяжелых борений, два завета, связанных каждый с момента-

ми его террористической жизни. Когда 2 февраля 1905 года с бомбой в руках он уже стоит на площади, и быстро близится к нему карета с князем, когда он уже подбежал к ней и сделал полувзмах рукой, он вдруг опускает руку и уходит, потому что в ней увидел сидящими детей и жену князя. Надо вспомнить, с каким трудом готовился акт, как страстно ждала этого акта партия и Боевая организация, чтобы понять, что это значило тогда для бойца. И он это сделал, и он писал потом княгине: «Я молитвенно не желал вашей гибели в той степени сознания, в какой я сделал все, от меня зависящее, для того чтобы обеспечить себе успех нападения на великого князя». И здесь для нас первый завет Каляева: есть в революции пределы для его гордого разбега, есть моральные барьеры для ее буйно расплескавшейся стихии. Не все всегда можно. И даже там, где высшие интересы революции требуют одного, внешняя обязательность их должна подчас благоговейно отступать перед внутренними требованиями идеи революции.

Когда 4 февраля бомба из рук Каляева взметнулась в воздухе и вихрем разнесла то, что называлось «позором человечества», наступила вторая и еще более героическая пора творчества Каляева. И содержание ее заключается в том, что он успокоился, что душа его обрела покой и утешение. Он не убегает с поля битвы, он дает себя схватить, он хочет умереть. Его преступление для него безмерно, ибо он убил человека. Да, конечно, телесная, земная оболочка этого человека была оскорблением для людей, для природы, для истории. Но сквозь эту временную и ничтожную оболочку человека он видит большее, глубочайшее и вечное: Человека. Во имя этого человека, во имя его радости и свободы в муках рождается новый мир. И можно ли на пороге новой, освобожденной жизни удариться о труп живого существа? Не превратилось ли священное дело в кощунственное посягательство?

На это есть один единственный ответ: за это кощунство надо отдать собственную жизнь.

Только умирая, можно убивать другого. И посмотрите на Каляева. Если до совершения террористического акта, под маской шутливости и веселости, скрывал он большую совесть свою, то какое же светлое освобождение наступило для него после действия его. Он ищет, он жаждет смерти. «Я часто думаю о последнем моменте, — говорил он еще до террористического акта. — Мне бы хотелось погибнуть на месте, отдать все, всю кровь, до капли... Да, это завидное счастье. Но есть счастье еще высшее, умереть на эшафоте. Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченное... Между делом и эшафотом есть целая вечность, может быть, самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю силу, всю красоту идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... Как колос созревший, полновесный... Чудесный, мистический брак с идеей... Идя на акт и потом на эшафот умереть — как будто дважды отдаешь две жизни». К этой вечности, между террористическим актом и эшафотом, между совершением греха и несением ответа за него, стремится террорист. Ибо только тогда он почувствует всю силу идеи, посылающей его на убийство, всю красоту идеи, ставящей его к суду перед ней же. И Каляев достиг этого стремления. «Пусть ваше горе, — пишет он накануне казни родным, — потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа». «Скажите моим товарищам, — просит он передать у подножия эшафота, — что я умираю радостно и буду вечно с ними». Так жажда близкой смерти живет в нем рядом с великим наслаждением подвига.

И в этом-то для нас второй завет — наследие его. Не слишком легко относиться к тяжкому мечу, врученному историей нашему поколению. В революционном делании, в жестокой подчас борьбе видеть большее,

чем только классовую необходимость, только неизбежность истории, только самопроявление философского рока, только проклятие Аримана.

Нет, в каждом революционном акте борьбы и насилия — ощущать свою личную проблему, свою собственную ответственность. Террорист той героической эпохи (не ремесленник террора нынешней эпохи) не смотрел на себя как на «последний вывод» эволюции, как на безответственное звено исторической цепи. Наоборот, он — зачинатель новой жизни, он — строитель нового мира. И потому он сам целиком отвечает за свое дело. Во имя «любви к дальнему», во имя будущих поколений бросает террорист свою цветущую жизнь под колесо истории. Но с мукой переживает террорист необходимость растоптать «любовь к ближнему», бросить под те же чугунные колеса чужую человеческую жизнь. Ибо прав он, тысячу раз прав. И в собственной смерти его нет оправдания тому, что он убивает, что он гасит живое солнце человека: нет оправдания, а есть только горькое утешение, есть только искупление.

Это чувство личной ответственности за террор — самое яркое проявление души его. Душа его таится в том, что с кровью жертвы сливается жертвенная кровь и террориста. «Почти неразрывно с террором связана жертва жизнью, свободой и прочим для нападающей стороны, — писала из кремлевского заточения Спиридонова, с негодованием отделяя героический террор от “ночных убийств” связанных, безоружных, обезвреженных людей втихомолку. — И, кажется, только в этом есть оправдание террористического акта*». Такой террор, лишь из необходимости возникавший, конечно, всячески всегда щадил лишнюю каплю чужой жизни**.

* Письмо М. Спиридоновой к ЦК партии большевиков. М., 1918. С. 21.

** Вспомним здесь, как сказал один из деятелей большевистского террора в провинции: «Лучше пересолить, чем недосолить».

Как Каляев в свое время не посягнул на родных великого князя Сергея, так и следующее поколение террористов шло такими же путями. Уже в эпоху нашей революции наши товарищи на Украине не посягнули на Скоропадского, когда уже ясна была его политическая гибель. Когда по завоевании Киева советской властью в 1918 году в нем был обнаружен немец-палач, повесивший Донского, убившего генерала Эйхгорна, он был предан суду трибунала. И знаменательно навсегда, что большевики хотели приговорить его к смерти, а левые эсеры, членом партии которых был Донской, все старания приложили к тому, чтобы жизнь ему спасти*.

Можно ли себе представить более яркий символ, чем это противопоставление двух типов социалистов: одним нужна политическая польза государства, другие дорожат охраной человека. И когда на далекой окраине России — Сибири — в борьбе с реакционной силой попадает в плен к ней в 1918 году левый социалист-революционер Иннокентий Сибиряков, то что он пишет в своем предсмертном письме? Он и его немногочисленные друзья-борцы отрезаны от живущей и творящей советской России высокой стеной вражеских фронтов, они побеждены в борьбе здесь, они захвачены безжалостным врагом, и что же занимает его сознание в предсмертные часы? «Дорогие товарищи, — пишет он, — умирая, я шлю вам свой последний привет и завет не оплачивать врагам нашим той же монетой, какой платили они нам... Среди социалистов нет места чувству мести. В тот момент, когда надо мной тяготеет смертный приговор, в последнюю минуту перед казнью я восклицаю: “Долой смертную казнь!”, кем бы и над кем бы она не производилась. Я умираю, когда красное знамя социальной революции высоко вознес-

* Каховская И. Из воспоминаний о деле Эйхгорна // Пути революции. Берлин, 1923.